

ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА...

В ТЫЛУ КАК В ТЫЛУ

(Из воспоминаний
Дмитрия Тихомирова)

Дорогой, незабвенной маме

Годы... Они длинные, когда еще впереди, когда предстоят. Но если большая часть пути уже пройдена, они кажутся до того быстроходными, что с тревогой и грустью думаешь: «Неужели так мало осталось?»

Я не был в этом городе очень давно. Раньше приезжал часто, а потом... все дела, все дела.

На привокзальной площади я увидел те же осенние цветы в жестяных ведрах и те же светло-зеленые машины, подпоясанные черными шашечками. Как прошлый раз, как и всегда. Будто не уезжал. «Куда вам?» — туго, с напряжением включив счетчик, спросил таксист.

— В город, — ответил я.

И поехал к маме, у которой (так уж случилось) не был около десяти лет.

1

В октябре сорок первого мы шли с ней по этой привокзальной площади в темноте, проваливаясь в ямы и лужи.

5

Мама запретила мне притрагиваться к старомодному, тяжеленному сундуку: «Это не для тебя. Надорвешься!»

Как будто и во время войны одиннадцатилетний мог считаться ребенком.

В канун нашего отъезда всех предупредили, что взять с собой можно «только одно место». Мама выбрала сундук, обвитый железными лентами. В нем, согласно домашней легенде, когда-то хранилось прабабушкино приданое.

Приданого, видимо, было много, потому что сундук мне казался бездонным. За одну ручку ухватилась мама, а за вторую — Николай Евдокимович. Своих вещей у него не было: за день до отъезда, когда Николай Евдокимович где-то дежурил, его дом разбомбили.

— Хорошо, что у меня нет семьи, — сказал он. — Вещи терять не так страшно.

Свободной рукой мама крепко держала меня за локоть, словно я мог вырваться и удрать.

— Смотрите под ноги! — предупреждал мужчина в брезентовом плаще с капюшоном. Промерзший голос нехотя вырывался из капюшона, как из рупора, и стеснялся своей заботливости.

Николай Евдокимович попросил маму остановиться. Он опустил сундук на доски, сложенные посреди дороги.

Кто-то, шедший сзади, наткнулся на нас и глухо, неразборчиво выругался.

— Простите, — сказал Николай Евдокимович. — Нога разболелась. Если не возражаете...

И присел на сундук. При маме он не мог сознаться, что просто устал.

Он любил маму. Это знали все.

— Ее красота слишком заметна, — постоянно говорил мне отец. И обязательно при этом вздыхал.

Ему хотелось, чтобы мамину красоту никто на свете не замечал. А прежде всего, чтоб о ней забыл Николай Евдокимович.

— Поверь, Алеша, я к нему не питаю никаких... таких чувств, — объясняла мама. — Хочешь, поклянись? Своим будущим и даже твоим!

Мое будущее она оставляла в покое.

— Я к нему ничего не испытываю, — настойчиво убеждала она отца.

— Но он испытывает к тебе. А это, пойми...

— И что же? Бросить его на произвол судьбы? — спросила она однажды.

И резко встала, как бы приняв окончательное решение. Она часто после негромкого разговора так вот вставала, давая понять, что ее аргументы исчерпаны. Голос менялся, становился сухим, словно река, потерявшая свои теплые, добрые воды и обнажившая вдруг каменистое дно.

— Ты умеешь укрощать даже сварщиков и прорабов. Куда уж мне, интеллигенту-биологу? Я сдаюсь! — в другой раз воскликнул отец. И поднял руки вверх.

Такие разговоры возникали у нас дома нередко. Во время одного из них мама сказала:

— Николая в институте звали Подкидышем.

— А где тебе его подкинули?

— Там и подкинули: в нашем строительном. Зачем ты спрашиваешь о том, что давно уж известно?

Мама резко поднялась.

— К сожалению, меня в ваш строительный никто не подкинул, — печально сказал отец.

Он ревновал маму к прошлому. Как, впрочем, и к настоящему, и к грядущему тоже:

— Когда-нибудь ты покинешь меня.

— А о нем ты забыл?

Мама кивнула в мою сторону.

— Ну если... только ради него... Это слабое утешение.

— В какие дебри мы с тобой забрели! И все из-за Подкидыша. Из-за этого безобидного князя Мышкина, — возмутилась мама.

Князь Мышкин, Подкидыш... Это должно было убедить отца, что он в полнейшей безопасности.

С тех пор отец стал называть Николая Евдокимовича только Подкидышем, словно прекратил думать о нем всерьез.

Он был выше Подкидыша минимум на полголовы, а то и на целых три четверти. Не говорил по десять раз в день: «Если не возражаете...» И все же щуплого Николая Евдокимовича, близорукого, в очках с толстыми стеклами, отец, я видел, продолжал опасаться. С моей точки зрения, это было необъяснимо. Еще и потому, что мама, хоть ее и называли красавицей, представлялась мне в ту пору абсолютно пожилой женщиной: ей было уже тридцать семь лет!

На мой взгляд, Подкидыш не мог быть угрозой для нашей семьи. «Ну какая любовь в этом возрасте? — рассуждал я. — Вот у нас, в четвертом классе... Это другое дело!»

Отец думал иначе... Если Николай Евдокимович приглашал маму на вальс, он говорил:

— Она, к сожалению, очень устала.

— Я полна сил и энергии! — заявляла мама. И шла танцевать.

Она привыкла стоять на своем не только потому, что была красивой, а и потому, что работала началь-

ником стройконторы: ей действительно подчинялись сварщики и прорабы.

— Твои прорабы! — говорил отец, делая ударение на последнем слоге.

Если Подкидыш обнаруживал, что у него «как раз три билета в кино», отец вспоминал, что в этот вечер они с мамой приглашены в гости.

— Меня никто не приглашал! — возражала мама.

Она всегда говорила правду. «Рубила», как оценивал это отец.

А честность тоже разная бывает,
И если доброты ей не хватает...

Отец начал как-то цитировать эти стихи, но запнулся.

— Честность есть честность! — ответила мама. И резко встала.

— Я не щадила тебя, — тихо сказала она, когда отец собирался по повестке на сборный пункт. Или, вернее сказать, на войну. — Я не щадила тебя... Прости уж, Алешенька. Но ты всегда мог быть абсолютно спокоен. Я пыталась воспитывать тебя... Это глупо. С близкими надо находить общий язык. Вот что главное... Ты простишь меня?

— Да, конечно, — ответил отец. — А Подкидыш поедет в одном эшелоне с тобой и Димой?

То, что мы уедем, было известно. Но когда — никто точно не знал.

— Хочешь, мы поедем в другом эшелоне? — сказала мама.

Я чувствовал, что она никогда больше не станет резко подниматься с дивана и разговаривать с отцом голосом начальника стройконторы.

— А если другого эшелона не будет? — ответил отец. — Неужели ты думаешь, что я могу рисковать... вами? — Он так сказал. Но мне показалось, что он все же боится нашей поездки в одном эшелоне с Подкидышем гораздо больше, чем идти на войну. Войны он вообще не боялся.

— Обещай мне, что ты будешь спокоен. За нас... За меня! — умоляла мама. — И пиши... Каждый день нам пиши. Не представляешь, как мы любим тебя!

— А ты?

Для отца мамина любовь всегда была дороже моей. Я знал это. И мне не было обидно. Ничуть...

Прощаясь во дворе школы медицинских сестер, где был сборный пункт, отец тихо спросил маму:

— И вагон у вас с ним... один?

— Мы поедем в теплушках. На нарах, — ответила мама. — Если хочешь, будем в разных теплушках. Только бы ты не думал... Ни одной секунды! До конца войны... До конца нашей жизни.

Она зарыдала. Я тоже заплакал.

— Ну что вы? Я скоро вернусь... — как и все вокруг, обещал нам отец. Это было седьмого августа. — И пусть Подкидыш вам помогает. Рядом должны быть близкие люди...

— Ты можешь быть абсолютно спокоен! — почти крикнула мама. — Клянусь всем на свете. Даже его будущим!

И прижала меня к себе.

2

Я знал, что хорошее начинаешь гораздо острее ценить, когда оно от тебя уходит. И что наши приобретения становятся в тысячу раз дороже, когда

превращаются в наши потери или воспоминания. Эта истина казалась мне раньше лежащей на поверхности, а значит, не очень мудрой.

Но, качаясь на нарах, под потолком, где было много времени для размышлений, я понял, что первым признаком мудрой мысли является ее точность: все, что недавно было обыденным и привычным, стало казаться мне нереальным, невозвратимым. А неприятности и заботы, так волновавшие меня прежде, я не разглядел бы теперь ни в один микроскоп.

Я с нежностью вспоминал о нашем учителе физкультуры, который ничего, кроме тройки с минусом, мне никогда не ставил, и о соседях, которые говорили, что я слишком громко хлопаю дверью и вообще ни с кем не считаюсь. «Ценишь, когда теряешь» — эту истину война все упрямей, с жестокой прямолинейностью вдабливала мне в сердце и в голову.

Отец заранее объяснил, какие нас с мамой встретят на Урале флора и фауна: он был биологом. Но нас встретил лишь низкорослый, неестественно широкоплечий человек, казавшийся квадратом, завернутым в брезентовый плащ с капюшоном. Из капюшона до нас донеслось хриплое сообщение о том, что «машин сколько есть, столько есть, а больше не будет».

Мои прежние путешествия в поездах всегда были праздником. «Гарантия возвращения — вот что было самым приятным в пути!» — понял я потом, через много лет.

— Что с Москвой? — раздался в темноте голос Николая Евдокимовича. Мы прошлепали по лужам еще несколько шагов. — Неужели все-таки...

— Этого не будет! — Мама остановилась, словно, как прежде, резко поднялась со стула.

И пошла дальше. Мы тоже пошли.

— Я уверен... Я абсолютно уверен! Но мы целый день не слышали сводки Информбюро.

На каждой станции Подкидыш выпрыгивал из вагона на шпалы, на мокрую землю и бежал к газетному киоску или к громкоговорителю, если киоска не было. Узнав, что после упорных боев наши войска оставили какой-нибудь город, он сообщал об этом только в том случае, если его спрашивали. И то очень тихо.

И поглядывал с опаской туда, где лежали на нарах мы с мамой: не хотел нас расстраивать.

Никто не объявлял заранее, долгой ли будет остановка, никто не знал, когда тупо ударятся друг о друга, заскрежещут чугунные буфера и мы тронемся дальше.

— Останется... Где-нибудь он отстанет! — беспокоилась мама. И я этого тоже очень боялся.

В течение двух недель, проведенных в пути, мы с мамой выходили только на перроны больших городов. Она не выпускала мою руку ни на мгновение. Мы искали бывшие вокзальные рестораны, чтобы по талончикам получить там похлебку и кусок хлеба.

«Потерять, оставить, отстать...» — война со всех сторон окружала нас этой опасностью. Но больше всего мама страшилась расстаться со мной. Она даже объяснила, что, поскольку мне всего лишь одиннадцать лет, я вполне могу ходить вместе с ней в туалет. Я воспротивился... И она стала отпускать меня туда на больших станциях с Николаем Евдокимовичем.

Если мы с ним задерживались, она, чуть приоткрыв дверь и глядя куда-то в сторону, испуганно вопрошала:

— Вы там?

Он отвечал:

— Мы здесь!

«Да... какая может быть любовь в этом возрасте?» — утверждался я в своей давней мысли.

Квадратный человек прохрипел из капюшона, точно из рупора:

— Побыстрее шевелитесь! Машины не будут ждать.

Мама покрепче сжала мой локоть.

Девять или десять крытых машин стояли на краю площади. Они сгрудились, как стадо молчаливых животных, пришедшее на водопой.

— Поплотней утрамбовывайтесь, товарищи! — скомандовал капюшон.

Подкидыш протянул маме руку из крытого кузова, но она вначале посадила меня.

А за нами вскарабкивались и «утрамбовывались» все новые и новые пассажиры из эшелона.

На нарах в теплушке голосов почти не было слышно. Не из-за стука колес, а потому, что растерянность и неизвестность как бы сковали людей.

И в кузове грузовика было напряженно от тишины.

— Осторожней, здесь мальчик! — предупредила мама.

Ей не возразили. Но и учесть ее просьбу никто не мог. Меня сжимали и утрамбовывали «на общих правах»: мест для пассажиров с детьми в крытой машине не было.

Я подумал, что нужно будет вообще забыть о своем возрасте. Взять и забыть...

Но мама не хотела, чтобы я забывал. В холодном бараке, который обогревался еле мерцавшими печурками, она превратила наш сундук в стол и сказала:

— Здесь ты будешь делать уроки!

Сказала властным голосом начальника стройконторы, потому что меня нужно было встряхнуть и убедить, что все продолжается.

«Комнаты» отделялись одна от другой простынями, бывшими скатертями или портьерами, прикрепленными к веревкам, как выстиранное белье.

Мама узнала, где находится школа, и повела меня туда сразу же, на рассвете следующего дня.

— Ты и так уж отстал от класса! — с упреком сказала она. Будто я отдыхал где-нибудь в пионерлагере или наслаждался выдуманными болезнями, как это бывало в мирное время.

Наше новое местожительство было на берегу уральской реки, названия которой я раньше не знал.

Оборонный завод напоминал человеческий организм, атакуемый перегрузками, но неослабевший: его сердцебиение было слышно всему городу днем и ночью. Вместо кислорода он вбирал в себя электроэнергию, а выдыхал пар и дым. Ему некогда было думать о своем внешнем виде: одежда выцвела, поизносилась.

Мощность этого организма строители должны были увеличить во много раз и в немыслимо короткие сроки. Завод окружали дома из некогда красного, закопченного кирпича; вросшие в мокрую грязь одноэтажные бараки; клуб, называвшийся Домом культуры, и школа, где учились в три смены.

На школе висел плакат «В тылу как на фронте!».

— Ты понял? — спросила мама. — Хотя вообще-то я не люблю этого лозунга: все-таки фронт — это фронт, а тыл — это тыл.

— Но всюду пишут... — попробовал возразить я.

— Мы в отличие от отца, — тоном начальника стройконторы перебила мама, — прибыли в зону безопасности. Чтобы ты мог учиться. В том числе и для этого... Ты понял? Мне некогда будет напоминать.

Маме стало некогда уже с двенадцати часов дня. Ее вызвали в стройуправление и назначили «инженером — руководителем по комплектации и восстановлению оборудования». Название маминой должности было таким длинным, что я испуганно спросил:

— А что это значит?

— Ничего особенного, — ответила мама. — Приходят эшелоны с оборудованием. Надо пристроить его в старых цехах или под навесом, пока не построим новые.

— Каторжная работа, — раздался мужской голос из-за старого, облысевшего ковра с озером и двумя лебедями, отделявшего нас от соседей.

— А вы были на каторге? — спросила мама.

— Пока что не приходилось.

— Откуда же вам известно?

Мама не любила паниковать.

— Да уж знаю! — монотонно настаивал голос из-за озера с лебедями. — Правда, дают кое-что пожевать за вредность производства.

— Вот видишь, — сказала мама. — Во всем есть свои светлые стороны.

Она их, по крайней мере, умела отыскивать.